

ЗИНАИДА ГИППИУС

ЧЕРТОВА
КУКЛА

Зинаида Николаевна Гиппиус
Чертова кукла
Серия «Чертова кукла», книга 1

Аннотация

«Они чуть не столкнулись – оба шли так быстро. Подняли друг на друга глаза. Девушка, одетая скромно, даже бедно, первая заговорила:

– Здравствуйте. Вы ли?

– Наташа! Я бы и не узнал. Ну, да ведь так давно не видались.

– Давно... правда... Вы – точно вчера это было. Точно вам семнадцать лет.

– Тем лучше. А мне ведь уже за двадцать. Вы здесь живете, в Париже?..»

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	12
Глава третья	16
Глава четвертая	18
Глава пятая	23
Глава шестая	29
Глава седьмая	45
Глава восьмая	49
Глава девятая	53
Глава десятая	65
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Зинаида Гиппиус

Чертова кукла

Жизнеописание в 33-х главах

Глава первая

Юруля

Они чуть не столкнулись – оба шли так быстро. Подняли друг на друга глаза. Девушка, одетая скромно, даже бедно, первая заговорила:

– Здравствуйте. Вы ли?

– Наташа! Я бы и не узнал. Ну, да ведь так давно не виделись.

– Давно... правда... Вы – точно вчера это было. Точно вам семнадцать лет.

– Тем лучше. А мне ведь уже за двадцать. Вы здесь живете, в Париже?

Наташа после первого движения как будто раскаялась, что окликнула его. Сказала неопределенно:

– Да... Вот и встретились. Может, еще встретимся, Двоекуров. А теперь я...

– Хотите проститься? Как хотите. Я не стал бы искать вас,

Наташа, говорю по правде. Но уж встретились, так поболтаем. Я забыл и вас, и Михаила, и других, и себя немножко, какой я был тогда с вами. Просто забыл, не думал, о своем сегодняшнем думал. А вот случайность – встретил вас и с удовольствием вспоминаю. Зачем же отталкивать приятную случайность?

Он говорил и улыбался. Изумительная улыбка: сияющая и умная.

Наташа тоже улыбнулась невольно.

– Я уезжаю опять в Россию, – продолжал он. – Теперь уж надолго, верно. Пожалуй, больше и не увидимся.

– В Россию? – задумчиво сказала Наташа.

Они медленно шли вместе по широкому тротуару. Малонарядная и молодая толпа большого бульвара, близкого к Сорбонне, такая живая в этот час, толкала их. Зимние, бледные парижские сумерки свисали с неба.

– Так что же, Наташа? Простимся?

Она еще помолчала.

– Нет, все равно. Пойдемте, посидим. Вот хоть в Люксембурге.

И двинулась вперед, через улицу, к решетке сада.

Холодный, зелено-алый ранний закат над серыми тенями деревьев. Холодный стук голых веток, – стук костяшек. Точно поздняя ночь мая под Петербургом.

– Расскажите о себе, – сказала Наташа, вздрагивая от холода.

Они сели на скамейку недалеко от бассейна.

– Да я все тот же. Здесь занимался химией...

– Химией? – удивилась она.

– Да, да... А вы, верно, вспомнили, что я прежде в Германии изучал философию? Химия удобнее, как я рассудил. Что до философии – довольно мне и своей. Ну, да это скучный разговор. Химия, так химия – не все ли вам равно? Уж я знаю, что для меня лучше.

– И едете в Россию?

– Да. Надо с петербургским университетом развязаться. И хочется пожить в Петербурге. Вы здесь одна, Наташа? А Михаил? А... Кто там еще? Где они?

Наташа помолчала.

– Не знаю... – промолвила она неопределенно.

– Не хотите говорить? Ну, не надо. Я ведь не любопытен. Для меня и они, и вы, Наташа, – прошлое. Милое, приятное, живое прошлое, оттого я и хотел вспомнить его. Но смотрю на вас и думаю, не уйти ли. Лицо у вас грустное, неприятное.

– Подождите. Это я по привычке бояться всех так говорю с вами, Юруля. А вас нечего бояться, вы – счастливый.

– Я счастливый, – сказал он просто.

– И вы не лжете.

– Нет, непременно лгу, когда нужно. Непременно. Но только, когда нужно.

Наташа встала.

– Милый Юруля, сейчас никакой радости вам разговор со

мною не даст. Лучше простимся. Только вот что: вы едете в Петербург? Отыщите там брата. Я завтра утром вам для него маленький пакет пришлю. Хорошо? Где вы живете?

Юруля тоже встал. Он был тонкий, крепкий, высокий, как молодая елка.

– Я живу недалеко, Наташа, но пакета вы мне, пожалуй, и не присылайте. Не буду искать Михаила. Он мне не нужен. Не огорчайтесь, милая, мне будет больно. Я говорю точно, как думаю, как чувствую. Если я нужен Михаилу – он меня разыщет, и я бегать от него не стану. Поймите, что мне сейчас за радость искать Михаила, что мне передавать, везти этот пакет? Это дело чужое, а чужие дела я забываю, плохо исполняю. Не сердитесь, милая.

Наташа засмеялась. Опять села. Вдруг вспомнила его, – такого, каким знала когда-то, не вполне похожего на других людей, ее окружавших. Вспомнила, что ей всегда весело было, любопытно смотреть на него, слушать, что он говорит. Любили его все, неизвестно за что; но Наташа не столько любила, сколько приглядывалась. Потом забылось. Уж очень много с тех пор пережито.

– Вы смеетесь? Не сердитесь?

– Нет, нет. Ну, какая я глупая. Я с вами встретилась, точно не с вами. Не надо никакого пакета. Я к весне тоже приеду в Петербург. Захочется мне или Михаилу – найдем вас.

– Вот это отлично! Вот теперь легко с вами стало... Нет, впрочем, не так, как прежде. У вас лицо измученное. Ах,

Наташа! Зачем? Я ведь знаю. И вас, и Михаила.

– Что знаете?

Юрий молчал. Ему не хотелось говорить. Стало скучно. Рассказывать он любил, рассуждать избегал. Через две минуты после встречи с Наташей он, припомнив ее и ее брата, уже представил себе с ясностью, какие они должны быть теперь, если учесть все с тех пор. Стоит ли говорить?

– Михаил прежний, – сказала Наташа.

– Ну, да, да. Может, и не прежний, а живет по-прежнему, из долга. Пленник.

– Что же делать? Как жить? – тихо сказала Наташа.

– Ах, не знаю... Я другим не советчик. Просто живите, вер никаких не ищите. Вы – скептик, Наташа, но темный скептик, а не светлый. Вы никогда ни во что не верили, но злились за это на себя. Бедная вы, бедная!

Он с нежной жалостью глядел на нее.

– Прощайте, милая. Ну, ничего, вы все-таки по-своему гармоничная, ничего.

Он уже спешил уйти. Уже не хотелось и вспоминать какая она невеселая... И нарастала досада, было неприятно.

– Вот вы меня жалеете, – сказала Наташа, – а я вам часто завидовала. Михаил – тот нет. А Кнорр бранил и завидовал.

– Что же? – сказал Двоекуров. – Я счастливый, потому что так хочу, так сам выбрал. Будь у них немножко больше соображения и заботы...

– О себе? – подсказала Наташа.

– О ком же?

Наташа смотрела на него задумчиво. Не уходила. Кажется, не думала о том, что он говорил. У нее яркие глаза, яркие и светлые, точно пустые.

– Хесю помните, Юруля? – сказала она вдруг.

Он сдвинул брови. Сияющая красота его вдруг потемнела.

– Какая у вас жадность вспоминать неприятное? Я с досадой вспоминаю Хесю! Я совсем не хотел ее любви. Нисколько она мне не нравилась. А впрочем, до вас это не касается. Нет, Наташа, я каюсь, что начал разговор с вами. Вы не умеете вспоминать, не умеете радоваться, не умеете жить. Мне с вами скучно и досадно.

Он повернулся было, чтоб уйти, но остановился и ласково положил ей руку на плечо.

– Не будем ссориться, я не хочу. Вы все для меня – милое, хорошее прошлое, кусок жизни. Как я рад, что тогда столкнулся с вами! Помните, какое было время? И какие все тогда были живые, молодые, веселые...

– Верующие... – тихо сказала Наташа.

– Пустое! Моя вера и тогда была та же, что и теперь, а я был с вами. И разве я что-нибудь скрывал от вас? Говорил громкие слова, поддерживал ваши идеи? Разве обманывал вас даже тогда, когда мы вместе в Москве сидели, когда ни за один день отвечать нельзя было, когда я ваши поручения исполнял, а вы, случалось, мои? Разве я старался уверить вас, что я ваш, что по гроб жизни буду заниматься революцией,

что думаю, как вы...

– Тогда было не до рассуждений...

– Да, а я все-таки уловил минуту и сказал вам и Михайлу правду. Сказал, что я не ваш, а свой. Делаю ваше дело потому, что мне оно сейчас приятно, увлекательно, нравится, – и должно оно нравиться молодости. Без этого, если б я тогда со стороны глядел, а не жил, – молодость была бы не полна, ну, и жизнь, значит, не полна. Вы это помните все.

– Помню, помню, – сказала Наташа грустно. – Что ж, вы правы. Но и Хesia не виновата, если ничему этому не поверила, полюбила вас по-своему.

Двоекуров нетерпеливо пожал плечами. Хотел было сказать, что да, не виновата и что все это не важно. Не сказал именно от ощущения неважности и скучной досады.

– Сейчас запрут решетку, пора, простите, – спохватилась Наташа. – Я ухожу... И... все равно, – прибавила она решительно, – я рада, что встретила вас; будьте, каким вы есть, если нельзя иначе. Будьте счастливы.

– Буду, буду!

Он, улыбаясь, крепко пожал ей руку и долго смотрел вслед.

Она пошла от него, серая в серых сумерках. И вся стройная, благородная, несмотря на скромную одежду, точно переодетая принцесса.

Юрий вышел на бульвар, где теперь горели огни и толпа переливалась синим и желтым.

«Наташа скорее бы понравилась мне, чем Хеся, – думал Двоекуров. – В ней своя гармония... или дисгармония какая-то. Это привлекательно. Да вот в голову отчего-то не пришло»...

– Oh, le joli garçon!¹ – крикнула ему, не останавливаясь, веселая «кофейная девочка» и блеснула глазами.

Юруля привычно улыбнулся ей, но прошел мимо, вперед, все еще думая о Наташе, переставая думать о ней понемногу.

¹ О, что за хорошенький мальчик! (фр.).

Глава вторая

По-студенчески

У старого сенатора, Николая Юрьевича Двоекурова, опустившееся, бритое лицо, бессильно злые глаза и подагра. Подагра серьезная, он все время почти не вставал с кресел, давно уже не выезжал.

Его забыли. Он это понимал. От злобы и от скуки он все что-то писал у себя, не то мемуары, не то какие-то записки, и не хотел даже завести секретаря.

Он был скуп и беден, зол и одинок. К нему, на его половину, случалось, никто не заходил целый день, кроме дочери Литты.

Эта «половина», отведенная ему графиней-тещей, была особенно мрачна; и некрасива, несмотря на молчаливую торжественность высоких потолков и темной, старой, тяжелой мебели.

Шестнадцатилетняя Литта жила при графине-бабушке. Старуха завладела девочкой сразу, как только умерла ее дочь. Не прощала внучке, что она – Двоекурова, но ведь все-таки это дочь ее несчастной дочери. Пусть, по крайней мере, девочка получит надлежащее воспитание.

К зятю, Николаю Юрьевичу, закаменевшая старуха питала спокойное и даже мало объяснимое отвращение. Не вида-

лись они по месяцам.

Но удивительно: Юрия, сына Николая Юрьевича от первого брака, старая графиня с годами все больше и больше миловала. Оттого ли, что мать его, как она знала, тоже была, хоть и бедная, но «хорошо рожденная» (удается же таким «Двоекуровым»!), оттого ли, что сам он ей весь нравился, – она благосклонно говорила с ним и даже верила ему.

– Décidément, ma petite, c'est un garçon très bien élevé², – говорила она после каждой аудиенции и трясла головой. Нравился Юрий.

Литта краснела от удовольствия. Еще бы не нравился! Кому это он может не нравиться!

Случилось, что ни отцу, ни тем менее графине, не пришло в голову ни разу ограничить в чем-нибудь свободу Юрия. Он взял ее сам, просто, как неотъемлемую собственность. Мало того, с семнадцати лет никому даже и не рассказывал, что делает, куда уходит, куда уезжает. Денег никогда не просил, что графиня ценила, а отец принимал, как должное, не заботясь, хватает ли ему положенных ста рублей.

Впрочем, на первую поездку за границу, в Германию, и на вторую, в Париж, отец дал какие-то лишние гроши, и графиня прибавила без просьбы.

В конце зимы Юрий вернулся из Парижа и тотчас же объявил дома, что взял себе для занятий комнату на Васильевском острове. Он не переезжает, – только не всегда будет до-

² Определенно, малышка, он очень воспитанный мальчик (*фр.*).

ма ночевать, вот и все.

Отец ничего не сказал, графиня приняла просто, Литта огорчилась, но втайне. И так оно и пошло.

– У тебя отличная комната, настоящая студенческая, – говорил Левкович грустно. – Только вот никогда тебя не заставишь. И дома у тебя бывал, – нету. Сюда третий раз прихожу, разузнал адрес.

– А тебе нужно что-нибудь?

– Да нет, я так. Ведь подумай, с тех пор, как ты вернулся, всего второй раз тебя вижу.

Комната, может быть, и отличная, но тесноватая. В углу длинный стол занят какими-то банками и склянками. Юрий, в тужурке, лежит на клеенчатом диване и курит тонкую папирску. Левкович снял шашку, но все-таки неловко теснится на стуле, поджимая ноги.

– Химия? – спрашивает он, косясь на склянки.

– Да... Ну, здесь это так. Здесь разве серьезно можно заниматься.

Левкович – троюродный брат Юрия. Ему под тридцать. Он ни дурен, ни красив. Если Юруля смахивает на узкую flûte³ для шампанского, то Левкович, рядом с ним, похож не на стакан, а на большую, обыкновенную рюмку из толстого стекла, с коротковатой ножкой.

В лице что-то ребячески простое, незамысловатое. Не глупое, а именно простое. Такие люди умеют честно и сильно

³ Здесь: фужер (*фр.*).

влюбляться.

Левкович – офицер. Но будь он лавочником, почтальоном, чиновником – это изменило бы его язык, его привычки и отнюдь не его самого.

Они всегда встречались редко, но Левкович обожал Юрулю. Верил ему, советовался с ним. У Юрули – заботливая и снисходительная нежность. Говорил он с Левковичем мало, но всегда терпеливо слушал и точно оберегал.

– Я все занят, Саша, – сказал он кротко. – Ты бы написал мне строчку домой, условились бы.

– А к нам ты уж не придешь? – грустно проговорил Левкович. И, не дожидаясь ответа, вдруг заспешил: – Ты отчего переменялся ко мне? Ну, не переменялся, а что-то есть. Я решил спросить тебя... Так нельзя.

– Что же спросить?

– Да вот... Я не знаю. Когда, после твоего приезда, мы увиделись и я сказал тебе, что женился, ты обрадовался. А узнал, что на Муре, и вдруг говоришь: «Напрасно!» С тех пор и не зашел ко мне. А я так счастлив, так счастлив. Что это значило, твое восклицание?

– Если ты счастлив, Саша, больше ничего и не нужно.

Глава третья

Шикарные цветы

На Преображенской улице Юрий соскочил с седла у подъезда одного из новых домов.

В швейцарской, как всегда, пусто. Юрий прислонил к лестнице велосипед, поднялся в третий этаж и бесшумно отворил большую черную дверь своим ключом.

В передней прислушался. Тихо. Он, впрочем, так и знал, что никого нет дома.

Передняя была большая, с претензией на роскошь. Женское кружевное пальто висло лентами чуть не до полу. Сдавленный воздух едва-едва пах хорошими духами и хорошей сигарой.

Не снимая фуражки, Юруля отодвинул темную портьеру, ловко закрывавшую маленькую дверь направо, вошел, и дверь за ним закрылась.

В пустой квартире все так же было тихо. На столе в гостиной, убранной с тем безнадежным безвкусием, которое дает поспешность роскоши, стоял свежий букет роз с длинными стеблями. Такой же дорогой, вероятно, как его тяжелая, некрасивая ваза.

Через десять минут Юруля, переодевшись, неслышно вошел в гостиную, вынул букет, оставил вазу. С большой лов-

костью завернул он цветы в белый лист бумаги, заколол булавками, – совсем как в магазине!

И потихоньку вышел, – но не прежней дорогой, а через коридор и кухню, убедившись предварительно, что и она пустая.

От черной лестницы у него тоже был ключ.

Глава четвертая

На кошачьей лестнице

– Да ну его, провались он! Очень мне нужно! – говорила Машка, фордыбачась.

На минутку остановилась на углу Казачьего по дороге из булочной с Аннушкой из десятого, что напротив.

Аннушка посолиднее, а то, может, просто вялая. Машка – вся огонь. Серый платок у нее на одном плече держится, даром что весенний ветер, пыльный, вонючий и холодно едкий, лезет в рукав и за ворот, тербит передник.

Белесые Машкины волосы подняты «по-модному», широкий рот молодо хохочет, сдвигаются глаза, блестя.

– При-дет. Да хоть бы и что, вот не видали, – жметесь она, притоптывая каблуком по тротуару.

Аннушка не очень верит.

– Ишь ты! Небось заскучаешь! Ведь хорошенький.

– Никогда он мне и не нравился, – нагло врет Машка. – Он ничего, да вот не нравится. Уж ходит-ходит, и всякий раз с букетом. Да я евонные цветы к барыне ставлю. Что мне? Браслета мне хотелось, так небось не подарил браслета. А что цветы-то из магазина таскает...

– На Моховой, что ли, магазин?

– А я почему знаю! Спрашивает наша кухарка раз: что это,

говорит, Илья Корнеич, какие у вас все цветы шикарные? А он ей: у нас, говорит, магазин шикарный, оттого и цветы шикарные. А цветы, говорит, приятнее всего дарить, ежели кого любишь. Наша-то кухарка с ума по нем сходит. Самовоспитанный, говорит, такой, и не сказать, что приказчик.

– Да чего, конечно, хорошенький. А вот я, девушка, видела третьеводни на Невском, – барыня с письмом посылала, ввечеру, – вижу, катит студент, ну, как есть твой Илья. И этакое ландо, и в ланде содержанка. Очень похож, помоложе разве.

– Ну, уж студенты-то известно безобразники, – равнодушно сказала Машка. – Прощай покуда, заходи...

И вдруг обе визгнули тихонько и засмеялись.

Под незажженным угловым фонарем мелькнуло веселое лицо. Кто-то снял новенький картуз и встряхивал недлинными, пышными волосами.

– Откуда это вы взялись? – бойко начала Маша.

– Да уж откуда ни взялся, а, признаться, к вам пробирался. Дома ли Степанида Егоровна?

– А придете, так узнаете... Буду я еще с вами по углам на свиданьях стоять... Есть мне...

И Машка, вся покрасневшая, вильнула прочь. Через два дома кинулась в ворота и совсем пропала.

Простившись за руку с Аннушкой, которая вздохнула, Машкин обожатель пошел в те же ворота.

И через минуту был уже в просторной, светлой и грязной

Машкиной кухне.

Он сидел за белым столом у перегородки, чинно, вежливо и весело поглядывая на Степаниду Егоровну, пожилую кухарку из важных. Она поила его чаем с вареньем и поддерживала деликатный разговор. Деликатность и хороший тон были коренной слабостью Степаниды Егоровны. Она считала себя знатоком хороших манер, любила вежливость и уважение до такой степени, что даже извозчикам говорила «вы».

Скромность, изысканную почтительность Ильи Корнеича она тотчас же оценила и взяла его под свое покровительство.

Рассуждали тихо, мерно, разумно. Послушать Степаниду Егоровну – так никогда не поверишь, что у нее строптивый и злобный характер, что Машке от нее нет ни житья, ни покою.

– Ну, чего ты вертишься туда да сюда? – огрызнулась на нее кухарка. – Села бы посидела. Вон опять Илья Корнеич чудные розы какие принес. Понимаешь ты много, деревня!

– Чего вы? Я чай господский убираю. А что они букеты носят, так мы не просим, – добрая воля!

И Машка опять убежала.

Но сердце не камень. И, понемногу приближаясь, кокетничая и дичась, как молодая звериха, она уже очутилась у черной двери, около табурета Ильи Корнеича. Хохотала чему-то, угловато вертелась, и каждая жилка ее большеротого лица играла.

– Я вот предлагаю удовольствие сделать, – говорил Илья Корнеич. – Марью Петровну сопровождать, если им угодно,

в театр. Или же на бал, на Пороховые. У меня знакомые есть. А Марья Петровна упираются.

– Понимает она много театр! – презрительно сказала Степанида Егоровна.

– Оне, Степанида Егоровна, утверждают, что вы им разрешения не даете отлучиться. Позвольте мне нижайше быть посредником и самолично просить у вас этого требуемого разрешения.

Приказчик говорил что-то уж слишком витиевато, но Степанида Егоровна вся таяла, а когда, получив разрешение, Илья Корнеич встал и сделал вид, что хочет у Степаниды Егоровны ручку поцеловать, она даже застыдилась, спрятала руки и была в упоении. Во-первых, от сознания своей власти, а во-вторых, от знакомства с таким воспитанным человеком.

Машка выскочила провожать его на лестницу.

Пахнет, как всегда, тяжелыми, холодными кошками. Бледный мрак бледной ночи, точно паутина, тянется из окон.

– Машенька, душенька, и что вы все какие сердитые, – улыбаясь, говорил Илья. – И что вы все какие неласковые...

Внизу, в сенях, где было темно-серо, он обнял девушку без дальнейших слов. Прижав ее к стене, целовал свежее, некрасивое лицо, большой рот.

Машка дернулась было, хотела что-то сказать свое, вроде «без глупостей нельзя ли», «да ну-те вас» – и ничего не сказала. Только задышала скоро-скоро под его летучими поцелуями.

– Ты моя душенька, Машенька, – шептал он, и в шепоте была слышна улыбка. – Поедешь со мной? Ужо приду, смотри, не отказывайся. А пока цветочки мои нюхай, меня вспоминай, глупенькая!

Наконец Машка вырвалась и убежала наверх. Он не держал ее больше.

Отворил дверь с блоком, вышел на серый, туманный двор, потом на такую же серую, посветлее, улицу.

Глава пятая

Пленник

Однако идти назад, на Преображенскую, в Лизочкину квартиру, нельзя: или слишком поздно, или слишком рано. Хотел было взглянуть на часы, да вспомнил, что с ним нет часов. Он обыкновенно оставляет их, потому что они золотые, очень дорогие.

Куда же деваться? Одет он совсем не маскаратно, но все-таки скверное, новое и длинное пальто не по нем, и синий картуз странен на волнистых кудрях. Нельзя поехать туда, где его знают.

Ему было ужасно весело. Нравилась ему и Степанида Егоровна с бонтоном, и Лизочкины цветы, которые он упорно приносил Машке, словно барышне, и очень нравилось некрасивое, свежее Машкино лицо, которое он целовал на кошачьей лестнице.

Забаве своей, случайно выдуманной, он радовался: радовал его бледный паучий свет печальной улицы, и свернувшийся калачом на козлах горький ванька, и уставший, добрый городской на безлюдном перекрестке; и радовал себя он сам, — веселый студент, простой, средний человек, так просто и свободно живущий.

Куда бы пойти, однако? Везде хорошо.

Он вспомнил про небольшой, средней руки, трактиришко в переулке с Гороховой. Бывал там, нравилось. Не совсем извозчичий, а так, мелкий люд, всякие попадаются.

В трактире было пустовато. Двое каких-то ели в углу седьму, странно запивая из чайника. Толстый торговец с обеспокоенным лицом, за бутылкой пива, все что-то шептал про себя и заботливо писал на бумажке.

Веселый Машкин обожатель спросил себе чаю, положил картуз на столик, встряхнул по привычке волосами и стал оглядывать комнату.

Но почувствовал, что на него кто-то смотрит, обернулся, и карие с золотом глаза его сразу встретились с другими, синими, тяжелыми.

Кто это? Не вспомнишь сразу. Кто это, в самом деле?

Одет так скромно, что и не поймешь, интеллигент ли бедный или рабочий. Узкое молодое лицо с черной бородкой, бледное. И вот эти синие глаза...

Ага, вспомнил! Стало еще веселее. Хотел встать и подойти, но не встал. Во-первых, старая, бессознательная привычка осторожности, связанная вот с этим синеглазым; во-вторых, соображение: ведь он, синеглазый, ему не нужен. Захочет, узнает, – а узнать вовсе не трудно, – сам подойдет.

Человек с черной бородкой встал и, не торопясь, подошел к столику приказчика.

– Нельзя ли к вам мне подсесть?

Тот встретил его смеющимися глазами и сказал, тоже не

повышая голоса:

– Садись, садись. Чай будешь пить или пиво? От Наташи поклон, если она еще не приехала.

– Нет еще. Спасибо, я чай буду. Что это ты так?

– А что?

– Да здесь... И... Ты ведь студент? От Наташи знаю, вы встретились.

– Вот и с тобой встретились. Если от Наташи знаешь обо мне, так уж, верно, все знаешь. А это... – он показал глазами на свой приказчиный картуз, – это случайно... Шалости... Никакого отношения ни к чему не имеет. Михаил, скажи лучше о себе.

– Я давно тебя хотел повидать, – проговорил Михаил, не отвечая на вопрос. – Да не выходило как-то... К тебе не рвался. Рад, что встретил.

– Значит, я тебе нужен? От Наташи ты должен знать, что я не намеревался искать ни тебя, ни других, что все вы для меня – только милый, хороший кусочек моего прошлого, – только!

– Ты не связан, – холодно сказал Михаил.

– Я и не могу быть связан, я говорю это для тебя, чтобы тебе все было ясно. Но от своего прошлого я не отказываюсь; я сказал и Наташе, что не буду бегать от тебя, если ты меня найдешь.

– Юрий, вот в чем дело... Впрочем, нет. Я лучше приду на Остров, если выяснится необходимость. Ты ведь на Острове

теперь живешь? А я вполне могу прийти. Дело не во мне.

– Все равно. Будь добренький, приходи на Фонтанку. Поверь, там лучше. И скажи теперь же, когда придешь.

– К графине? Ты и там живешь? Хорошо. Через десять дней приду. Шестого мая. Да! Кнорр у тебя бывает?

– Кнорра я видел. Так, мельком. Он хотел зайти. Я не знал, что вы с ним продолжаете...

– Не близко. Ну, так прощай теперь. Яша хотел зайти сюда; поздно, должно быть, не придет.

– Ах, еще Яша! Ну, этот... Я рад, что не видел его.

Михаил угрюмо промолчал.

– И ты, помню, с Яшей не дружил.

– Он мне лично не был симпатичен, – сказал Михаил. – Цинизм в нем есть, понятный впрочем, но я не люблю цинизма. Повторяю, это просто мое личное чувство, и я себе никогда не позволял ему поддаваться.

– Господи, Михаил! Что ты только говоришь. Не поддаваться... личным чувствам... Ну, да оставим.

– Ты тоже циник...

– Однако я тебе не был антипатичен никогда. Вспомни.

– Это опять необъяснимый каприз личности.

– Нет, Михаил, это просто, пойми: разве мы похожи с Яшей? Вот мне приходит в голову как раз интересная вещь, ты скажешь – парадокс, но послушай: я откровенно забочусь прежде всего о себе, но мне важно делать это с наименьшим вредом для других; а Якову, который, по-моему, глупее всех

глупых людей, важнее всего повредить; он воображает, что это самый верный путь хорошо позаботиться о себе. Может быть, я ошибаюсь, но такое у меня впечатление.

Михаил насупился.

– Оставим и психологию, и Якова. В сущности, ты так же мало его знаешь, как и я. Я знаю, что в деле Яков незаменим, этого с меня довольно.

Он встал. Юруля не улыбался, лицо потемнело, в глазах была досада.

– Подожди, Михаил. Еще одно слово о тебе. Сядь, прошу тебя. Не стоило бы, но уж так нашло на меня, хочется сказать.

– Ну, что? – нетерпеливо и болезненно сказал Михаил, садясь.

– Ты мне глубоко неприятен, – ты несчастен. Зачем это? Пленник мой бедный, заставляешь себя думать о «свободе других», а сам-то? Я понимаю, тяжело признаться, что не веришь в то, чему верил (хотя это тяжесть предрассудка) – однако есть же разум, есть же свобода, есть же очевидность! Не веришь ты больше никому и ничему! И остаешься, стиснув зубы, все с теми же людьми, – из-за чего, ради чего? Ради «долга»? Что это за тупость? Весь в веревках, – да еще в каких-то воображаемых!

– Оставь, оставь, – строго сказал Михаил.

– И оставлю. Ведь я тебя не убеждаю, не к себе зову, мне никого не нужно; я только советую: попробуй опомниться.

А это что же такое? Это безобразно. О, идеалисты! Досада, отвращение... – И вдруг перебил себя: – Извини, Михаил. Мне ведь все равно. Увидел тебя – и сказал. Будь себе, каким хочешь. У меня сердце нежное... нет, глаза у меня нежные. Когда смотрю – жалко.

Они были теперь одни в трактире. Михаил заторопился.

– Прощай, – буркнул он. – Так я приду шестого. А не то через Кнорра дам знать, когда.

Слов Юрия он как будто и не слышал. Сидел задеревенелый.

Юрий сам, выйдя минуты через две из трактира, уже смеялся и удивлялся.

«С чего это я ему? Да ну его совсем! Какое мне дело?»

Пошел пешком на Преображенскую и уже на Невском совершенно забыл неожиданную встречу.

Глава шестая

Разнообразие любвей

Белые до голубизны электрические пузыри меж черных сучьев, едва опушенных, то надувались светом, словно пухли, то ежились с шипом. Где-то уж слишком вверху честно желтеет бесполезная луна.

Злая ночь мая, петербургская, дышала ледком. Небо светло-серое, как оберточная бумага, с висящим ненужным месяцем, было глупо.

Внизу, напротив сцены, сидел за столиком безбородый мальчишка в цилиндре.

– Двоекуров! – крикнул он вдруг. – Послушайте! Двоекуров!

Тот, высокий и тонкий, в студенческом мундире без пальто, остановился равнодушно.

Оркестр молчал. Слышен был песочный скрип под подошвами вялой толпы. Щелкнула где-то пробка.

– Это вы, Стасик? – сказал Юруля. – Здравствуйте.

Мальчик в цилиндре поспешно поднялся.

– Послушайте, Двоекуров. Послушайте, сядьте со мной. Ведь вам все равно. Вот у меня шампанское... Мы с вами мало знакомы, но что ж такое. Ведь вы один?

Двоекуров сел.

– Пока один. Что это вы нервничаете? – прибавил он участливо.

– Скажите правду, раз навсегда: вы меня очень презираете?

Юруля поднял на него свои карие, с золотыми искрами глаза, сдвинул со лба фуражку и улыбнулся.

– Вы, должно быть, проигрались, Стасик?

Стасик залепетал:

– Ну да... Откуда вы знаете? Но это все равно. Я один, растерян. Чувствую, вся жизнь моя как-то гибнет. Все меня презирают, я знаю... И я сам себя презираю. Я низко пал...

– Да будет вам, – равнодушно проговорил Юруля. – Не думаю я вас презирать.

– Ах, Бог мой, точно я не понимаю... Но увидел вас... Вы такой странный. Не видишь – не помнишь, а видишь – почему-то любишь. Вы такой красивый. Не сердитесь.

– Я никогда не сержусь, Стасик. Но вы не кокетничайте со мной. Ваш номер у меня, вы знаете, не в ходу. А денег я вам не дам.

– Да разве я... – начал Стасик.

– Нет, не дам.

– Если б вы могли... Немного... До четверга.

– Могу, но не дам. Не вижу, какое мне удовольствие дать вам денег?

Стасик растерялся. Он совсем не затем позвал Двоекурова, чтобы просить денег. Совсем за другим. Позвал, но за-

чем – он не помнил, и как уверить, что не хотел просить денег, – не знал.

Беспомощно обиделся, вскипел.

– Вы, пожалуйста, не оскорбляйте меня, Двоекуров. Я никому не позволю... Я еще не потерял понятия о чести...

– Ох! – шутливо вздохнул Юруля. – То самоунижались без меры, а то вдруг польский гонор заговорил... Экий вы глупенький мальчик.

Музыка опять играла какую-то подпрыгивающую дрянь. Старые присяжные поверенные с женами и дамы без мужчин, в светлых пальто, с обыкновенными бабьи-продажными лицами, заходили повеселее.

Но было еще пустовато – было рано.

– Вон, кажется, Саша Левкович, – сказал Юрий, присматриваясь к офицерскому пальто вдали.

Стасик взмолился:

– Двоекуров, не уходите еще! Лучше Левковича позовем, когда он мимо пройдет. Я знаю Левковича, я знаком...

Юрулю стал забавлять Стасик. Очень уж волновался.

– Разве так проигрались, что плохо приходится?

– Да нет... Не то... – начал Стасик. – Конечно, проигрался. Но меня как-то вся моя жизнь мучит. И, право, не с кем слова сказать.

– Какого же вы слова хотите? – участливо спросил Юруля.

– Я не знаю... Вы меня осуждаете?

– Полноте, Стасик. Бросьте вы. Хотите, лучше я вас вон

с тем толстяком познакомлю?

– Я?.. Зачем мне? А кто это?

– Писатель, поэт, довольно известный. Раевский. Он теперь не на виду, худенькие молодые затерли, а когда-то одним из новаторов считался.

– Ах да... Я слышал... Нет, нет, Двоекуров, подождите. Я вам хотел одну вещь сказать...

Знакомства Стасика были больше в чиновничьем, богатом кругу и среди офицерства. В круг литературный он как-то не попадал, не успел, хотя и считал себя «эстетом скорее». Юрий легко дружил со всеми. Всех знал, и все его любили.

– Вы отговариваетесь, – продолжал Стасик, – а ведь вы такой откровенный. Отчего вы не скажете мне, ведь вы очень меня осуждаете? Осуждаете?

– Да, – произнес Юрий.

Стасик горько поник.

– Ну, вот так я и знал.

– Не то что осуждаю, – продолжал Юрий, – и не за то, за что вы думаете, а просто жалею, что вы так неумно живете и скверно о себе заботитесь.

Стасик удивленно взмахнул на него черными, может быть, немного подведенными, ресницами.

– Если бы ваш способ добывания денег был вам приятен, доставлял вам удовольствие – вы были бы вполне правы. Если бы даже он вам был безразличен – ну, куда ни шло, ничего. Но так как вы вечно дергаетесь, мучаетесь, нервничаете,

глядите совсем в другую сторону – то, ей-Богу, глупо так над собой насильничать. До того навинтились, что уж о самопрезрении заговорили. А себя крепко любить надо. Поняли?

Мелькая черными тенями и белесыми пятнами света, пошла маленькая, стройная женщина, очень хорошо одетая. Лицо у нее было совсем кукольное; только у дорогих кукол бывают такие нежные, черные глаза, такие ровные черные брови, такие светло-белокурые волосы, такой хорошенький ротик. Одни веселые ямочки на щеках были не кукольные, а живые.

– Лизок! Здравствуй! – сказал Юруля, улыбаясь. – Хочешь, садись к нам?

Она подобрала юбки и села, глядя на него и тоже улыбаясь.

– Ну вот, ты Стасика развесели, а то он нос на квинту повесил. Говорит, что никому не нравится.

– Стаська-то? – засмеялась она. – Как же? Это такая воображалка, думает, что лучше него и на свете нет!

Она весело и просто поглядывала на Стасика, говорила добродушно, как незлая маленькая женщина, которая не завидует другим, когда ей самой хорошо.

– Правда, он недурен, – продолжал Юрий с серьезным видом. – Вот ты, Лизочка, могла бы в него влюбиться?

Лизочка захохотала. Качалось нежное белое перо на ее шляпе.

– В Стасика? Ха-ха-ха!

Юрий по-прежнему серьезно, но со смеющимися глазами настаивал:

– Ну вот, Лизочка, почему нет? Он, я знаю, давно в тебя влюблен. По крайней мере, нравишься ты ему очень.

Лизок все еще смеялась. Потом передохнула.

– Да ну вас обоих с пустяками.

Стасик, красный, волновался.

– Видите, Двоекуров, вот и она... А это несправедливо. Это правда, Лили, – прибавил он вдруг, – вы мне очень, очень нравитесь.

Лизочка, не смеясь, передернула плечом.

– Да брось, глупенький, точно я не знаю! Поумнее тебя.

Теперь тихонько смеялся Юрий.

– Конечно, ты умнее, милая. Вот и я без тебя то же Стасику доказывал. И хоть правда, что ты ему нравишься, однако тебя ему не видать, пока он не на «собственных лошадях» ездит.

– Да хоть бы и на собственных... – начала Лизочка, ничего не поняв.

Юрий уже с кем-то разговаривал издали. Толстый Раевский и Левкович подошли вместе. Через минуту Юруля позвал еще двух: пожилого приличного и молодого неприличного.

Первый, со смуглым выразительным лицом нерусского типа (говорили, что он не то из болгар, не то из армян), был известный критик-модернист, талантливый, углублен-

ный и запутанный, Морсов: второй – поэт «последнего поколения», грубый, тяжелый, небрежно одетый, с толстой палкой в руках и скверными зубами во рту – Рыжиков.

Незнакомых Юрий перезнакомил. Должно быть, каждый приплелся в этот холодный сад одиноко и праздно, потому что все с удовольствием уселись за столик Юрули. Даже два столика составили вместе.

Раевский и критик Морсов спросили шампанского, Юрий тоже, и все подливал Лизочке и Стасику; поэт с палкой презрительно пил пиво, а Левкович не пил ничего, сидел, молчаливый, на углу и смотрел на скатерть.

Морсов уже разливался соловьем, напрягая голос, потому что в это время на сцене куча толстых баб кругло разевала рты в такт музыке, которая дубасила во все тяжкие.

Морсов везде и всегда разливался соловьем. У него были круглые и красивые периоды, которые катились мягко, точно разубранные колеса. Они ласкали и баюкали слух, а в конце еще оказывалось, что и мысль у него не лишена оригинальности, даже парадоксальности, и всегда приятной.

Раевский и Рыжиков, хотя познакомились, не сказали друг другу ни слова. Перекидывались молчаливыми взглядами; поэт «конца века» судил поэта «начала века» и обратно; оба друг друга, видимо, презирали. Раевский, «лирик дореволюционного периода», презирал Рыжикова за то, что он пьет пиво, скверно одет, худ и молод; эстет «нового периода» так же искренно презирал Раевского за его

элегантность, непомерную толщину и французские словечки. Впрочем, в презрение Раевского вмешивалась зависть: он чувствовал, что от чего-то отстал. И чрезмерность полноты его немного мучила, хотя обыкновенно он утешал себя сходством с Апухтиным.

– Я провожу удивительные вечера в кругу молодых моих друзей, – продолжал катить Морсов колеса и кивнул в сторону Рыжикова. – Как мне жаль, что поэты предыдущего поколения, поэты уже определившиеся, уже сделавшие много, вроде глубоководного Анатолия Борисовича, – тут он кивнул в сторону Раевского, – не помогают начинающей молодежи, не соединяются с ними, уходят в уединение, прочь от литературной семьи...

Раевский, точно еще никогда не сдавался на приглашение Морсова, избегал всяких новых «литературных» вечеров, хотя никак нельзя было сказать, что он живет в «уединении».

– Вы, дорогой Юрий Николаевич, знаете наши интимные вечера прошлого сезона, вы бывали, – не унимался Морсов. – Должен сказать, что теперь дела идут несколько иначе. То, что было, – было прекрасно, однако время изменяет все. Приток новых сил и новые запросы духа...

Юрий улыбнулся, вспоминая.

– Да, запросы духа... – произнес он рассеянно и прибавил вдруг: – А вон Жюличка... Она одна? Лизок, позови ее к нам... Да нет, сама идет. Жужулинька! Не угодно ли при-

сесть!

Подошедшая девица была брюнеткой, поплотнее Лизочки, хуже одета, вульгарнее, но тоже очень хорошенькая.

Она развязно улыбнулась всем, вдвинула стул между Рыжиковым и Морсовым, спросила раков и белого вина, отказавшись от шампанского.

Раевский не обратил на новопришедшую никакого внимания. Он давно уже и Морсова не слушал, и даже на Рыжикова не глядел: присоседившись к Стасику, он что-то говорил ему вполголоса, колыхаясь мягким телом. Тот отвечал, хотя строил мины, вскидывал ресницами. Порой, исподтишка, бросал трусливый взор на Юрулю, но Юруля не глядел в его сторону.

Все болтали между собою, кроме Морсова, который разглагольствовал для всех.

Пользуясь шумом, Юруля сказал Лизочке почти на ухо:

– Отчего ты здесь?

– Воронка телефонировал: в комиссии. Будет во втором часу. Чтоб его! Это значит – всю проваландается. Ты, коли надо, потихоньку.

– Ладно. Знаю. Вот молодец, что дома не высидела.

– Да, как же, буду я! Молчи, – прибавила она тише, – вон уж Юлька уставилась на нас. Ест глазищами... Ей-Богу, дуру ей сейчас скажу...

Но Юрий сурово толкнул ее под столом ногой, – он терпеть не мог бабьих выходов, – и Лизочка сейчас же весело

заговорила о пустяках с Левковичем. Левкович ей, впрочем, почти не отвечал.

Воронка, или «дядя Воронка», про которого Лизочка сказала: «в комиссии», был очень богатый южный помещик Воронин, депутат. Юруле он приходился троюродным дядей со стороны матери. В доме графини изредка бывал, даже обедал; графиня к нему благоволила. Хотя Воронину перевалило за пятьдесят, он глядел еще молодцом и с Юрулей сразу вступил в приятельские отношения.

И так хорошо сошлось: у Лизочки покровитель был неважный, а дядя Воронка томился случайностями петербургской жизни давно. Юруля знал, что Лизочка ему понравится. Действительно, так понравилась, что дядя Воронка еще недавно, на лестнице графини, с лукавым взглядом поблагодарил Юрулю, а Лизочкина квартира на Преображенской стоит полторы тысячи, обстановка самая новая. Все остались довольны.

Морсов начинал иссякать, тем более что никто его не поддерживал, и приставал теперь главным образом к Юруле.

– Вы мне всегда казались художником, Юрий Николаевич. Я знаю, вы ничего не пишете, но разве нужно причастие к какому-нибудь известному искусству, чтобы быть художником? Отнюдь. С таким лицом, как ваше, с таким... я бы сказал, рисунком всей вашей личности, можно не написать ни одной строки, но не быть поэтом – нельзя. Вы занимаетесь философией...

– Нет, – сказал Юруля. – Я занимаюсь химией.

Морсов запнулся.

– Как, химией?

– Да, у Х... в Париже. Очень серьезно. И буду продолжать.

– Химией? Да... Ну, все равно. Разве химия – не та же поэзия? Важно отношение. Вы увлеклись химией...

– Да нисколько я не увлекся... Простите, ради Бога, одну минуточку... Здравствуй, милый, – сказал он, вставая и подавая руку подошедшему к нему высокому студенту, мешковатому, с болезненным, темным лицом.

– Мне надо тебя на несколько слов...

– Сейчас, Кнорр. Ты спешишь?

– Нет.

– Ну так присядь к нам. Я вместе с тобой выйду. Мне тоже скоро надо.

Кнорр знал почти всех, а у Морсова даже бывал, потому что раз написал целую поэму. Он сел, залпом выпил бокал шампанского. Слегка опьянел, лицо сделалось еще бледнее и еще трагичнее.

Лизочка глядела на него со страхом и отвращением. Грубоватая Жюлька захохотала и не высунула ему язык только потому, что Юруля был с ним ласков. Потом опять обернулась к Рыжикову, с которым они давно оживленно переговаривались короткими и выразительными словечками.

– Я с удивлением только что узнал, что Юрий Николаевич изменил философии ради химии, – завел опять Морсов, об-

ращаясь уже к студенту Кнорру. – Я говорю, что самое разнообразие запросов духа в наше время...

Кнорр грубо прервал его:

– В Эльдorado за раками о запросах духа еще начнем разговаривать...

Нежданно уязвленный Морсов не успел ответить, вмешался Юруля.

– Везде можно разговаривать, о чем угодно, Кнорр, не в том дело. Георгий Михайлович не дослушал меня. Я, действительно, химией занимаюсь, но вовсе не потому, что особенно увлечен ею.

– А почему же? – с любопытством спросил Морсов.

Юруля объяснил просто:

– Да видите ли, я давно рассчитал, что к зрелым годам у меня явится желание некоторой, хотя бы просто почтенной, известности, некоторого уважения... А об этом надо заранее позаботиться. Выдающихся способностей у меня нет, на гениальные выдумки я рассчитывать не могу. Химия, как я убедился, скорее всего другого позволит мне приспособиться, сделать какое-нибудь даже открытие небольшое... В меру моего будущего сорокалетнего честолюбия... За многим я не гонюсь, я человек средний...

Раевский вслушался и повернул к Юрию грузное тело.

– А-а! *Biaise Pascal!* Да, да, вспоминаю: «*Qu'une vie est heureuse grand elle commence par l'amour et qu'elle finit par*

Г'ambition!»⁴

– Вот именно! – улыбнулся Юрий.

В Морсова это объяснение, несмотря на всю его простоту, как-то совершенно не вошло.

Рыжиков неожиданно закричал: – Какая поза! – Но, встретив удивленный взгляд Юрули, сник и прибавил: – Это, конечно, расчетливо...

Кнорр не слушал. Долго не сводил глаз с Юрия, облокотившись, положив голову на руку, и вдруг сказал:

– Черт тебя возьми, какой ты красивый, Рулька!

Юрий спокойно улыбнулся.

– Счастливый. Потом все такие будут.

– Красивые?

– Счастливые.

– Это когда мы рылами несчастными содохнем?

Юрий развел руками.

– Ну, конечно. Надо людям еще очень долго умнеть...

– Поехал на свое.

– Это не мое, а общее. И что ты с красоты начинаешь? Ты начинай с ума и счастья...

Кнорр опять закричал капризно:

– Не хочу я в Эльдорадо с девчонками о счастье разговаривать! Не хочу! Не место здесь никаким «вечным вопросам». Не желаю!

⁴ «Как прекрасна жизнь, если она начинается любовью и завершается честолобием!» (фр.).

Лизочка, как всегда, ровно ничего не поняла, но горячо вступилась за Юрулю. Перебранка ее с Кнорром делалась забавна, когда Морсов, вдруг осененный новой мыслью, принялся уговаривать Юрия непременно прийти на одно собрание через десять дней.

– Новое общество «Последние вопросы»... Вы не были?.. Закрытое, но очень, очень многолюдное. Приходите, приходите. Я пришлю повестки. Будет собеседование по поводу «Приговора» Достоевского. Приходите, говорите. У нас все говорят...

– Я приду, – мрачно сказал Кнорр.

Морсов начал приставать к Раевскому, который не слушал.

– А? Что? Куда? – поднял он жирные веки на Морсова.

– Вот если и вы, молодой человек, интересуетесь, пожалуйста... – обратился тот к Стасику.

Стасик взволнованно согласился, польщенный. Раевский тоже стал благосклоннее. Юруля молчал, а Морсову именно его-то ужасно захотелось.

– Обещайте! Придете?

Был уже двенадцатый час. Сад не то что оживился, но весь как-то двигался, за столиками почернело; на сцене, с прорывающимся сквозь музыку шипом, тряслись серые тени, серые мертвецы кинематографа.

– Посмотрите, не символ ли это нашей сегодняшней, белопетербургской, ночной жизни? – спрашивал Жюльку силь-

но подвыпивший Рыжиков.

Но та равнодушно отвертывалась.

– Надоел уж синематошка-то... Повсюду теперь это... Нашли, чем угощать.

– Мне пора, господа, извините, – сказал Юрий, поднимаясь. – Георгий Михайлович, милый, если мне захочется – я непременно приду в ваше общество. Не очень их люблю, но иногда мне весело покажется, и прихожу.

– Порассуждай, порассуждай о «вечных вопросах», – мрачно усмехаясь, сказал Кнорр.

Морсов обещал прислать Юрию как можно больше повесток.

– Нет, что у нас за аудитория!

Раевский тоже поднялся, тяжело, собираясь уходить. Нерешительно кусая розовые губки, поднялся и Стасик, стоял поодаль.

– Саша, – тихо сказал Юрий, наклоняясь к Левковичу. – Что с тобой? Какое у тебя лицо. Молчишь все время...

Левкович весь опустился.

– Так, неприятности... Заботы.

– Какие?

– Хотел сказать тебе. Да не стоит, брат. И неудобно здесь, сам видишь. После.

– Зайди ко мне, Саша. Или я приду...

Левкович вдруг вспыхнул.

– Нет, нет. Я сам приду, сам.

Юрий неувовимо пожал плечами. Начинается досада!

Лизочка взглянула на него искоса, быстро; Юрий таким же быстрым взором ответил ей «да, да», – и отвернулся к другим.

У Лизочки времени было мало, но она еще осталась на минутку и рассеянно слушала вежливые нежности Морсова.

Юрий ушел с Кнорром.

Глава седьмая

Солома на башмаке

Когда они миновали мало освещенную выходную аллею, Юрий заметил, у самой будки, скверно одетого господина, рыжеватого, с веснушчатым лицом и синими подглазниками.

Он только что входил в сад и прошел мимо очень быстро, но Юрий успел заметить, что они с Кнорром переглянулись.

– Этот еще тут что делает! – морщась, сказал Юрий, когда они через кучу карет, извозчиков и автомобилей выбрались на проспект.

– Кто? – нерешительно произнес Кнорр. Хмель с него давно соскочил.

– Ну, кто... За тобой, что ли, следит? Верно ли поручения исполняешь?

– А ты... узнал?

– Эту-то прелесть вашу не узнать? Всегда он мне был неприятен.

– Отчего ты Яшу так... – начал Кнорр.

Юрий вдруг остановился.

– Послушай, Кнорр, у меня нет времени. Я должен ехать далеко, переодеться и успеть еще попасть в одно место. Говори скорее, что тебе нужно. Ты, как я вижу, не от себя...

– Я от Михаила.

– Ну отлично. А всего бы лучше, оставили бы вы меня в полном покое! Я совершенно не интересуюсь ни вашими делами, ни вашими настроениями. Был бы рад и не знать ничего. Ведь я вам не мешаю.

Кнорр нервно поправил фуражку.

– Конечно, если ты этого хочешь... Никто не будет насильно... Я так и скажу Михаилу. Извини.

– Да говори уж! – досадливо крикнул Юрий. – Я очень жалею Михаила и Наташу, и если я могу что-нибудь сделать для них мне не неприятное, я сделаю. Не понимаю твоей роли. Ты ведь всегда был сбоку припеку... Говори скорее... А то я уеду.

– Михаил у тебя тогда был. Сказал, что надобность пока миновала.

– Ну? Михаил у меня раза три уже был.

– Так вот... А теперь явилась надобность. Дело в Хесе.

– А! – холодно проговорил Юрий. – Тем хуже.

– Выслушай, прошу тебя! Ради меня. Я не вижу исхода, если ты... Яша говорит, что...

– Для Яши я ничего не сделаю. Да раз дело касается Хеси, то я и для Михаила тут ничего не стану делать.

Кнорр весь потемнел, хотя и без того был зелено-серый во мгле дневной ночи.

– Не Яша, не Яша, – залепетал он. – И не ради дела, я знаю, ты от него ушел. Ради меня, просто... Ты знаешь, и я ведь к делам их не так уж близок. Просто... Но, конечно, если ты и

слушать не хочешь... Пусть сам Михаил.

– Пусть.

Они прошли молча несколько шагов. Юрию стало жаль Кнорра: жаль той досадной, скучной жалостью, которую он чувствовал к несчастным и глупым. Кнорр мешал ему, влекся за ним, как солома, приставшая к башмаку. Хотелось сбросить его во что бы то ни стало – и сейчас.

– Кнорр, – сказал Юруля кротко. – Ты объясни, в чем именно дело. Воспоминание о Хесе мне неприятно, потому что она тогда влюбилась в меня, а мне совсем не нравилась, и это создавало прескучные истории. Но я ничего не имею против нее. Ты, я знаю, любишь ее или воображаешь, что любишь. Мне это все равно, но тебя я жалею. Скажи, в чем дело.

Кнорр забормотал:

– В подробностях пусть уж Михаил... А я только два слова. Они ее сюда вызывают. Или не вызывают, но только она должна сюда приехать на некоторое время. И ей очень, очень рискованно, именно ей. Надо ее хорошо устроить. Места же теперь нет такого. С внешней стороны она обеспечена, а места вот нет...

– Что ж так обеднели? – презрительно спросил Юрий. И добавил: – Не понимаю, при чем я тут...

– Ты в стороне... Графиня...

Юрий рассмеялся.

– Что же, я ее графине в виде любовницы своей представ-

лю? Или в своей комнате на Васильевском поселю?

– У тебя знакомые...

– Брось, Кнорр, это все ребячество. Да, наконец, зачем я стану?.. – Спыхватился и опять кротко прибавил: – Ну, я подумаю... Спрошу еще Михаила... А теперь прощай. Вот последний порядочный извозчик, там уж не будет. И без того опоздал.

Не предлагая Кнорру подвезти его (еще согласится!), Юруля быстро вскочил в пролетку и поехал на Остров.

Только его Кнорр и видел.

А по дороге на Остров Юруле пришла вдруг в голову забавная мысль... Правда, почему нет? Они будут довольны, для Хеси это будет невинно-поучительно, а Юруле, – и это главное, – будет весело. Отлично, так и решим.

А пока – ну их всех к черту, и Кнорра, и Хесю, и всех. Юруля спешит к себе. Надо снять мундир. Неловко.

Глава восьмая

БАЙ-БАЙ

Проходят, проходят ночные часы.

Тихий стук, щелк французского замка. Тихий, тише нельзя.

Кругло вспыхнул свет в передней, мелькнул котелок на подзеркальнике, рядом с белыми перьями широкой шляпки кругло вспыхнул свет, на полмгновенья – и сгас. Отворилась, затворилась внутренняя дверь. Совсем шепотом. Точно ничего не было. Так, просто тишина вздохнула.

Но кто-то чуткий слышал.

Прошуршали по коридору быстрые мелкие шаги, – босые ножки, точно мышьиные лапки. Опять отворилась та внутренняя дверь.

Лизочка просунула в нее свою кукольно-белокурую голову.

– Юрик, ты? – позвала чуть слышно.

На дворе теперь обнаженно светло и страшно, потому что по-ночному мертво. Но в комнате шторы сдвинуты, горит граненое яйцо на потолке. Юруля – в кресле, усталый; как был – в черном пальто, мягкую шляпу только сбросил.

В комнате хорошо пахнет, ковер, низкий диван, за бледной ширмой свежая постель.

Притворила дверь, босая, вошла, в открытой сорочке, с продернутой в кружева лиловой лентой у плеч.

– Я проститься... Дрыхнет Воронка. Терпеть этого не могу, когда он на всю ночь располагается. Ну что?

– Все продул, Лизок.

И Юруля устало и весело улыбнулся, сладко зевнул. Она тоже улыбнулась.

– Экий какой! А весело хоть было?

– Весело. Я тебе завтра расскажу. Все четыреста просадил. А сначала – вот везло!

– Четыреста? Не больше?

– Откуда ж больше?

– То-то. Мне Юлька третьеводни хвасталась... Да врет? Смотри, ты не ври. У Юльки ничего не брал?

И она вдруг ревниво сдвинула брови, смешно черные под кукольными волосами.

Юрий устало протянул руки и посадил ее к себе на колени.

– Вот глупая! Если тебе веселее, чтоб я твои деньги проигрывал, так зачем мне лгать? Да мне сегодня больше и не надо было.

Лизок обнимает его голыми, похолодевшими руками и счастливо смеется. Шершавое сукно пальто царапает ей тело, цепляет кружева.

– Ужасно я в тебя влюблена. Ты такой... такой... – Не нашла слова, подумала. – Не знаю, какой. А только все бы сейчас тебе отдать и чтоб ты был доволен. Юлька вон так и ест

тебя глазами. Тоже! И врет, врет... Коммерсант, говорит, у меня... А сама прошлогодние перья на шляпку нацепила. У ней за душой и с коммерсантом всего ничего.

– Вот постой, я ей получше кого-нибудь найду, – шутливо сказал Юрий.

Лизочка вся вспыхнула, дернулась, чуть не заплакала. Юрию не захотелось ее дразнить.

– Ну, хорошо, хорошо, – протянул он сонно. – И Юлька славная. Ты мне больше нравишься, вот и все. Знаешь меня, понравилась бы Юлька больше... Будь довольна тем, что есть. А теперь уходи, я спать хочу. Вот увидит еще Воронка, что тебя нет...

– Не проснется, храпит, как медведь. А веселый какой приехал, шут его дери, и даром, что прямо из комиссии, ухитрился, заранее прислал цветов, дорогие, белые, роскошнейшие! В горшке. Вот завтра, коли хочешь, тащи своей хамке!

Лизочка знала немножко про шалости Юрия с переодеванием. Не сердилась, – да и разве бы помогло? – а умира-ла-хохотала.

– Цветы? Так куда это я их с горшком поташу?

– Оборви, да и неси! Вот еще!

– Ну, завтра лень... – Он зевнул и прибавил опять: – Иди же, Лилька, право! Ну, гоп!

Она поцеловала коричневую волнистую прядь у него на лбу и соскочила.

– В тебя все влюблены, а вот ты со мной. И комната твоя у меня. А я больше всех влюблена. Ну прощай, спи и то. Небось уж час пятый, коли не больше.

У дверей она еще обернулась.

– Спи поздно. Мой-то часов в десять уедет. А мы завтракать станем.

– Ладно.

Она, вспомнив, засмеялась.

– Какой этот твой потешный, говорун-то... Сегодня в Эльдорадке... Так и плывет из него, так и плывет... Ведь это он и есть, к кому ты Верку нашу тогда возил? Расспрошу ее завтра...

– Да иди ты, наконец!

– Ну уж и Кноррище этот... Вот ненавистный! Чисто чужунный! Иду, иду, спи!

Тихо, опять по-мышинному, убежала. Юруля с наслаждением зевнул еще несколько раз, вскочил, сбросил с себя все, повернул кнопку – и огонь электричества провалился.

Глава девятая

Симпозион

Утром дождик. В Лизочкиной столовой «под дуб», с одним широким надворным окном – темновато. Завтрак смешной: дорогие сыры, закуски и фрукты из Милютиных лавок, прекрасное вино, а из горячего только и есть, что яйца всмятку.

Но Юрию и Лизочке это нравится, им весело, они смеются.

Подает на стол высокая, черноватая горничная, совсем молодая еще, но худая, точно болезненная. У нее короткий нос и лицо совсем не неприятное, волосы острижены и выются.

– Верка! – кричит ей Лизочка. – Ей-Богу, вот смешной-то! Так и катит, так и катит! А видать, что ни скажи, – сейчас поверит! Дурынды они все, должно быть. И выдумает же этот Рулька, право! В курсистку играть!

Верка смеется, показывая тесные, белые зубы.

– Да как же ты? – пристает Лизочка. – Расскажи по порядку.

– Уж забыла, должно быть. У меня после больницы, от тифа этого, память такая стала...

– Ну, не ври! Чего тут, садись с нами. Я тебе икема налью.

А ты расскажи. Мне интересно, потому что я вчера в Эльдорадке этого Морсова все слушала. Садись, садись.

Верка – давняя Лизочкина подруга. Года полтора тому назад, когда Юрий знал ее, она хорошо была пристроена, с богатеньким офицером, и даже Лизочке покровительствовала. Лизочку – тогда еще глупенькую, еще черноволосую девочку, Юрий однажды у нее видел мельком. С тех пор дела повернулись. Верке сильно не повезло. Запуталась в какую-то глупую историю, потом заболела воспалением легких, а выздоравливая, – схватила в больнице тиф. К весне едва выписалась. Ни кола, ни двора. На улицу идти у Верки свой гонор, да и соображение есть.

Лизочка – добрая душа, а тут и Юрий посоветовал: «Да возьми ты ее к себе в горничные. Сама все ноешь, что с „хамками“ не можешь сладить. Кухарку брось, дома ведь никогда не обедаешь, лакей у тебя при карете, а с Веркой отлично будет. И мне уж надоели эти соглядайки. Не повернись».

Так и устроились. Верка была довольна. Она после болезни слабая. А в белом переднике дверь дяде Воронке отворить, да с граммофона пыль смахнуть – отдых, а не работа. Они обе – Лизочка-госпожа и Верка-горничная очень естественно приняли данное положение. Так оно есть – чего же еще? Верка называла Лизочку «барыней», а Лизочка, при других, говорила даже ей «вы», как следует.

Порой они ругались, Верка «отвечала», но не более, чем настоящая горничная.

Старые «дела» Юрия с Веркой решительно никого не смущали. Они были забыты. Впрочем, Верка и прежде никогда Юрию не нравилась особенно. У нее осталась к нему послушливая преданность.

По приглашению развеселившейся Лизочки Верка, не жеманясь, села за стол и вино выпила.

– А ты его в гости не звала? – спросила она Лизочку про Морсова, переходя на дружеское «ты». – Вот интересно, еще узнал бы меня.

Лизочка захохотала.

– Никогда бы не узнал! Порожела ты с той поры здорово!

– Вот еще! Я поправлюсь, – сказала Верка, нимало не обижаясь.

– Ну ладно, ты мне расскажи обстоятельно! От него ничего толком не добьешься, – кивнула Лизочка на Юрулю. – Вот, сидит и смеется. Ну говорит, двоюродная сестра, ну курсистка, а ты что?

– Да я что? Мне тоже интересно. Он всегда, бывало, выдумывает... Научил меня, а память у меня была хорошая...

– Ну, ну? – нетерпеливо допрашивала Лизочка. – Чему ж он тебя научил? И как же там было?

Юруля, улыбаясь лениво, поощрил:

– Да расскажи ей, Верка. Я уж и сам забыл. Теперь уж этого и нет ничего.

– Нету? – спросила Лизочка с сожалением. – Что ж они? Рассорились все?

– Ну, много ты понимаешь. Я говорю про те вечера, на который я Верку повез. Да тебе не втолкуешь. Пусть Верка расскажет.

– А и смешно было, Лиза, – начала та с одушевлением. – Говорит он мне вдруг: хочешь, говорит, я тебя в самое что ни на есть утонченное общество свезу? Настоящие, говорит, аристократы, и ты между ними будешь. Я гляжу на него, а он смеется: аристократы. Как? духа, что ли? Это, мол, еще выше, да и забавнее. Наилучшие художники и писатели, говорит, строго между собой собираются и утонченно по-своему веселятся, и лишнего никто не допускает. А я тебя привезу.

– Ишь ты! – сказала завистливо Лизочка. – Я бы боялась. Выгнали бы еще скандально, если строго и на дому.

– Ну, я не боялась. Во-первых, что какие это там такие аристократы, точно мы их не видим, а затем он меня научил ловко. Оделась я в простую юбку и блузку белую, ну, пояс кожаный, однако все новенькое. Волосы наушниками, и будто я его двоюродная сестра, курсистка из Москвы. И будто я тоже, не хуже их, стихи могу писать, и стихи дал на бумажке, велел наизусть на случай выучить. А у меня память была отличная...

– Неужели помнишь? – воскликнула Лизочка. – А ну-ка, скажи! Скажи, душка!

– Теперь, после больницы, уж не знаю... Вспомню, так скажу. Ты слушай по порядку.

– Ну?

– Ну вот, и будут тебя, говорит, звать София, что значит премудрость.

– Сонька, попросту.

– Не Сонька, а София. И должны там все, самые солидные, и господа, и дамы, надевать костюмы, а меня, когда мне костюм станут предлагать, научил, что ответить.

– Что же?

– А вот погоди. И должны там все лежать...

– Это что же? – разочарованно фыркнула Лизочка. – Сразу же и ложатся?

Юрий усмехнулся.

– Глупенькая! Это они за столом должны возлежать... Это давным-давно такая мода была...

– Ну да, возлежать, – поправилась Верка. – На столе кушанья, вино, а они вокруг, только вместо стульев обязательно кушетки, на них и возлагаются.

– И ты возложилась?

– Погоди. Он научил меня: больше все молчать и глядеть строго и скромно. И если, говорит, пакости какие увидишь, – мало ли что покажется! – не обращай внимания, не хохочи, гляди строго, с благоволением, и не думай чего-нибудь: это они по примеру самых благородных древних фамилий.

Лизочка не выдержала.

– Нет, ну и дура же ты, Господи! Уж я бы не попалась. Это просто он тебя надувательски надул, вот и хохочет теперь! Просто повез тебя в самое последнее место. Хороша!

Верка смутилась было. Но Юрий, продолжая смеяться, сказал:

– Не бойся, Верка, не слушай! Я тебя ни капельки не обманывал! Настоящее было место, и аристократия настоящая. Лизочка не унималась.

– Нет, Морс-то, Морс-то! Посмотреть – манеры самые деликатные.

– А ты на него напрасно, он ничего, ни-ни, вежливый, и все так гладко. И костюм на нем такой длинный был, пестрый, ногами даже путался. Другие многие, действительно...

– Похабничали?

– Ну... Мне что? Я гляжу да молчу. И все, милая моя, говорят, говорят... Вино в чашках. Чашку не выпьет, в руках держит, говорит-говорит, насилу опрокинет.

– И все стихами?

– Всяко. Я не слушаю, свои в уме держу, кабы не забыть. На головах венки из цветов, живые, ну и повяли, потому на проволоках.

– И ты с венком?

– Нет. Я не приняла. Ты слушай. Когда это уж достаточно поговорили и поугощались, Юрка вдруг встает и объявил: София, говорит, желает теперь высказать свою причину, почему она отказалась надеть костюм и остается среди всех в своем обыкновенном платье.

– Так и объявил? Ух ты батюшки! А ты что ж?

– А я уж знала. Взяла свою чашку, подняла вот так... –

Верка подняла стакан с икемом, – ну и сказала...

– Да что ж ты сказала?

– Вот забыла, как сказала, – вздохнула Верка. – Вот уж и не сказать теперь так ни за что, хоть убей. С голосом учила. Я между вами, говорю, одна без костюма потому... потому...

– Эх, да ну тебя!

– Потому, мол, что костюм – это... полумера, что ли?..

Она беспомощно взглянула на Юрюлю. Но тот коварно молчал, улыбаясь.

– Одним словом, постой, – продолжала Верка. – Одним словом, что они все трусы, что желают все... да, освобождения от условий и, кроме того, красоты, а что для этого, – я будто чувствую и знаю, – надо собираться совершенно обнаженно, потому что в теле красота, а не в костюме. И в красоте чистота, и я, мол, одна это понимаю, потому что я вот, чистая девушка, сейчас бы готова на это, но вижу, что они еще не готовы, и сижу в своем платье скромно, а в костюме, однако, наряжаться не согласна, это, мол, только себя обманывать. Не истинная красота.

Верка проговорила все это одним духом, глядя на Юрюлю. Тот покачал головой.

– Забыла ты, забыла, – сказал он. – Много чепухи наплела. Тогда лучше у тебя вышло.

Лизочка только руками всплеснула.

– Батюшки, срам-то какой! И неужели ж они тебя за эти-кие вещи об выходе не попросили?

– Ничегошеньки. Я думала не то. Думала скажу – да вдруг они все снимают. А не то закричат: хвастаешь, так раз-девайся, а мы не в бане. Мне же, признаться, не хотелось. Однако, милая моя, ничего подобного, а прямо фурор. За мое здоровье чашками так и хляскают, кричат, что я вернее всех сказала, что выше их понимаю, что они, действительно, не готовы. Говорили-говорили, Морсов в хламиде путается, другой там был, черненький, в коротенькой юбчонке, на кушетке лежит, кричит: мы старые люди, но мы идем к новому! Скандалили довольно.

– Весело, значит, было?

– Нет, милая моя, скучища. У меня уж глаза повылезали. Да и они – поговорит один, выпьет, другой об том же начнет. Вот и веселье. Ну, наугощались, конечно. А так чтоб особенного – ничего.

– Мне было забавно, – сказал Юрий. – Я все на Верку смотрел. Вот важничала, курсистка.

– Наконец, того – сон меня стал на этой кушетке клонить. А Морс пристаёт: София, скажи стихи свои!

– На «ты» уж к тебе?

– Все на «ты», по условию. Дамы там, солидные видно, им тоже все «ты». Ну, я сначала, конечно, ломаюсь. После говорю, хорошо, только что припомню из старого. Не будьте строги. Все он меня научил, да уж потом я и сама разошлась, вижу, как с ними надо.

– Неужели помнишь стихи? – спросил Юрий. – Помнишь,

так скажи Лизочке.

Стихи тогда Юрий сам старательно – не сочинил, он не умел сочинять, а составил для Верки. Составил с расчетом и со знанием, как дела, так и вкусов тогдашних.

Теперь Юрий, конечно, не помнил ни одного слова. Так давно все это было, так устарело. Но ему забавны казались воспоминания Верки: ведь для нее это приключение осталось свежим и важным.

– Ах, не припомню я, – сказала Верка. – После больницы уж не та у меня память. Погоди-ка.

Она встала в позу, опустив руки, наклонив голову, и начала нараспев, густо. Голос у нее был довольно приятный.

Я вся таинственна,
Всегда единственна,
Я вся печаль.
И мчусь я в даль,
Как бы изринута
Из чрева дремного...
Не семя ль темное
На ветер кинуто?
В купели огненной
Недокрещенная,
Своим безгибельем
Навек плененная...
Душа скитальная...

Верка запнулась. И повторила беспомощно:

Душа скитальная...

– Ну? Что ж ты? – поощрил Юруля. – Вали дальше. Длиннее было.

Он тогда очень старался, чтобы стихи составить средние, чтобы не пересолить в пародию. И действительно, пародии не было.

Верка припоминала:

Душа скитальная...

– Так вот хоть ты что! Больше, ей-Богу, ни-ни, ничего не помню!

Лизочка была разочарована.

– Ну-у! – протянула она. – Я думала, интереснее что-нибудь. И так заунывно и говорила?

– Так надо.

– Что ж они? Понравилось?

– Должно быть, понравилось. Руки мне жали и объясняли, что это значит.

– Что же?

– Ну, я уж не слыхала. Устала, беда! Целый вечер на этой кушетке, да гляди строго, да молчи, – оно дойдет!

– Ишь ты, бедненькая! – пожалела Лизочка. – Я бы не выдержала. И, главное, ради чего, коли веселья никакого не было.

– Нет, в начале смешно. После только наскучило. Ну, побаловались они еще, затем платья свои понадевали – и по домам. А уж потом я не знаю, было ли у них еще, нет ли.

– Может, они потом без костюмов, Юрка, а? – спросила Лизочка.

Юрию надоело. Он зевнул.

– Не знаю. Я больше не был. А потом за границу уехал. Да нет, теперь уж ничего этого нет. Мода прошла. Теперь не дурачатся, теперь серьезно, лекции читают.

– Ну, лекции...

– Ничего, ты пойди как-нибудь, послушай, я тебе билет дам.

– И мне дай, – попросила Верка. – Не выгонят?

– Нет, нет, в общей зале. Садитесь смирно и сидите.

– Скука?

– Еще бы. А надоест – уйдете. Вот, признаться, вы мне теперь обе ужасно надоели. У меня к тебе дело было, Лизок, да скучно, и некогда теперь. Как-нибудь после. Отдохну и поеду. Обедаю я в одном месте нынче.

Он встал и открыл окно. В столовой было накурено. Верка, превратившись в горничную, принялась убирать со стола.

В эту минуту в передней зазвонили.

Лизочка прислушалась и вдруг вскочила, подхватив ленты своего капота.

– Вера, Вера, – зашептала она. – Живо! Все со стола вон! Это Воронка, я его руку знаю! Ключа-то не даю, дудки! Не

иначе как опять забыл что-нибудь утром, растеряха! В спаль-
ной не убрано? Ладно, я прямо в постель, скажи, барыня еще
не вставала... Юрунчик, прощай.

Она подскочила к Юрию, на лету чмокнула его и исчезла.

В один миг стол опустел, как будто ничего на нем никогда
и не стояло. Юрий неслышно скрылся. И Верка уже отворяла
дверь, скромная и ловкая в своем белом переднике, извиня-
лась перед барином, что не сразу услышала звонок, доклады-
вала, что барыня опять започивали и не велели себя будить.

Дядя Воронка доверчиво пошел сам в спальню. Он толь-
ко на минутку. Он, действительно, забыл утром у Лизочки
какой-то, никому, кроме него, не нужный портфель.

Глава десятая

На фонтанке

Необыкновенно унылая квартира – квартира графини. Весь дом унылый, старый, – ее собственный. Такие бывают казенные дома, казенные квартиры. Окна темные, высокие, с мелкими и будто всегда грязными стеклами.

Комнат непомерно много, половина из них – бесполезны. Какие-то буфетные, какие-то угловые. У графини своя гостиная, своя столовая, где с нею обедает Литта и две чрезвычайно приличные приживалки. Николаю Юрьевичу подают особо, да, кажется, и готовят особо. Юрий, когда жил на Фонтанке, обедал тоже с сестрой и графиней.

К отцу Юрий чувствовал дружеское сожаление. Он болен и в зависимости от графини. Считал, однако, что отец малодушен и слишком рано озлобился. Мог бы, если б не капризничал, поддерживать некоторые связи, и вообще жить гораздо приятнее.

Он ласково и шутливо выговаривал ему подчас. Николай Юрьевич махал рукой, но потом оживлялся и даже начинал доказывать себе и Юрию, что вовсе он не так опустился и вовсе не так уж его забыли. Вряд ли он любил сына, однако ценил посещения: они развлекали и утешали его. Веселый, красивый, уверенный и здоровый Юрий ему нравился.

На дочь Литту он не обращал никакого внимания. Графинина внучка.

В этот день Юрий пришел часа в два, посидел у отца, а после пил чай с сестрой. Графине нездоровилось, она не выходила.

– Отчего ты теперь не живешь с нами? – спрашивает Литта тихо.

В доме все тихо говорят.

Юруля смотрит на сестру, на ее еще по-детски распущенные волосы, бледные, связанные черным бантом, и улыбается.

От его улыбки в комнате делается уютнее.

– Почему не живешь с самой заграницы? – опять спрашивает Литта.

– Разве я не живу? Я часто ночую. Там, на Острове, мне ближе к университету, ты знаешь. И заниматься удобнее.

Но Литта качает головой.

– Разве здесь мешают? Твоя комната самая хорошая. Большая. И прямо из передней. Ничего не слышно. Да ведь у нас нигде ничего не слышно.

Юруля опять улыбается.

– Скучно у вас очень.

– Юруля, а я тебя боюсь.

– Неправда. Меня никто не боится. Это глупости.

Литта краснеет и делает сердитое лицо.

– Да, не боюсь. Это не то. Но как-то я тебя не понимаю.

Не знаю.

– И я тебя не знаю, сестренка. А зачем знать друг друга?

Литта удивилась, но ничего не сказала. Помолчала, подумала.

– И от отца, и от графини – такая скука идет, – сказал Юруля искренно. – Я тут бы не мог все время жить. А иногда люблю.

– Юра, мне хочется в гости к тебе. Да ведь бабушка не пустит.

– Ничего, потом пустит. Ты с кем выходишь?

– С ней выезжаю, в Летний сад. Или, иногда, с Марьей Владимировной.

Марья Владимировна – одна из важных графининых приживалок.

– Прежде было лучше, когда miss Edd жила, – продолжала Литта. – Но выдумала бабушка вдруг, – не надо гувернанток, порча – гувернантки, и вот я теперь одна-одинехонька. Только учителя и учительницы целый день, приходящие. Надое-ло уж.

Юруля глядел на нее и думал что-то свое.

– Ну, не ной, – сказал он. – Ты пока слушайся старухи. Понемножку будешь свободнее, со мной станет пускать. О гувернантках не жалей. Графиня это не глупо выдумала – вон их. Характер только портят. – И вдруг добавил, по какому-то внутреннему сцеплению мыслей: – Что, Саша Левкович у вас бывает с женой?

– Отчего ты спросил? Да, был раз, еще когда ты не приехал, когда только что женился. Ах, Юра! Она прехорошенькая, но ужасно странная. А ты, оказывается, давно с ней знаком?

– Давно, прежде... Когда еще отец ее был жив. Еще и Саша ее не знал.

– Ну, когда это давно? Ей и теперь с виду четырнадцать лет. Бабушке она не понравилась.

– А тебе?

– А мне... Видишь ли, сначала я ужасно обрадовалась. Думаю, вот Саша женился, grand-maman к нему благоволит, станут бывать у нас, я с ней подружусь... Она ведь такая молоденькая. Ну, а потом...

– Что же потом? Grand-maman не одобрила?

– Да нет... Не то. А она сама какая-то... Я, впрочем, раз только ее и видела. У нее такие манеры...

– Манеры! – засмеялся Юрий. – Ну, милая, ты сама по бабушкиному заговорила.

Литта вдруг ужасно рассердилась.

– Как тебе не стыдно! Я вижу, ты ничего не понимаешь. Прежде, когда мы маленькие были, ты понимал, и я тебе все говорила, а теперь ты, как все. Вот и правда, что я тебя боюсь, то есть не боюсь, а не знаю, мы как чужие. Точно я об манерах забочусь! Я не про то. Но и пусть мы чужие, если так. Я сама тебе теперь давно не все говорю про себя, и не нужно.

Юрий нежно притянул ее за рукав.

– Ну прости, детка. Про манеры я тебе нарочно, это правда. И мы совсем не чужие. Хотя и думаю, что «все про себя говорить» никому не следует, и ты хорошо делаешь, что не говоришь. А на меня не сердись. Лучше расскажи про Муру, что она тут делала. Я уж пойму, почему она тебе не понравилась.

– Да не то что не понравилась... – начала Литта, усаживаясь ближе к Юрию и успокаиваясь. – А просто... дикая она какая-то. Вот приехали они, grand-мамап к ней сначала ничего. И она ничего, только все вертится. Коса за спиной. Об отце ее grand-мамап спрашивает – помню, говорит, генерала, – а Мура так странно: «Да, жалко старика!» Потом вдруг ко мне: «Пойдемте, покажите мне вашу комнату, познакомимся!» Пошли.

– Ну, что ж тут такого?

– Да, ничего, я даже рада была, но grand-мамап уже насупилась. Я повела ее в классную, потом и в спальню. Она шляпку сбросила, совсем гимназисткой стала, хохочет, по стульям прыгает. И о тебе тут стала говорить. Что ты у них бывал и что она тебя Юрулей звала. Поцелуйте, говорит, его от меня крепко, когда он приедет, скажите, чтоб он в гости ко мне приходил, что я теперь замужем. Да ты у них уж был?

– Да... Раз был.

– Ну, так она тебе рассказывала?

– Что? Ничего не рассказывала. Говорила, что ты хоро-

шенькая девочка, только...

– Только что?

– Ничего. Ведь она глупая, Мура. Вот и весь секрет.

– Конечно, глупая. Ты послушай дальше. Она опять о тебе. Он, говорит, ужасно красивый и притом негодный, но от того-то мне и нравится. Я не выдержала и говорю холодно: пожалуйста, не отзывайтесь так о моем брате. Я к этому не привыкла.

Юруля крепко поцеловал ее.

– Ах ты, защитница моя глупенькая. Ну?

– Она никакого внимания, хохочет, как бешеная, и вдруг, нет, ты вообрази! начала меня щипать, честное слово, и пребольно! Согласись, что это... что это...

У Литты при одном воспоминании разгорелось ухо под пышными волосами.

– Дда... – протянул Юруля. – Какая дура! Это противно.

– Еще бы! Когда они уехали, grand-tata говорит: «Я очень люблю этого бедного Сашу, а что касается ее...» – и ко мне: «Вы, говорит, должны понять».

– А ты?

– Рада была. Vous avez parfaitement raison, grand-mère, d'ailleurs elle ne me plait nullement⁵.

Она засмеялась, вскочила со стула и сделала реверанс.

– Вот ты к ней и ходи, а я не хочу! По-моему, и Саша стал хуже, с тех пор как женился. Растерянный какой-то.

⁵ Вы совершенно правы, бабушка, впрочем, она и мне совсем не нравится (*фр.*).

Юрий не улыбался, думал. Должно быть, о Левковиче. С того вечера в Эльдorado, где Левкович сидел, как в воду опущенный, он у Юрия еще не был.

– Юруня, ты уходишь? – И девочка тревожно на него посмотрела.

– Я приду к обеду. И вечером останусь.

– Ах, Юра! А можно мне к тебе в комнату прийти вечером?

– Не знаю.

Литта огорчилась и молчала, не смея ничего больше спросить.

– Сестренка, ну чего ты? Ведь я тебя никогда не гоню. А сегодня ко мне сюда кое-кто придет.

Она взглянула осторожно исподлобья.

– Может быть, Михаил придет?

– Да, и Михаил тоже...

Литта вся просияла.

– О, Юра! Ну я не говорю про сегодня, пусть я сегодня не приду, если и другие еще у тебя, но когда Михаил – я так рада! Знаешь, я его мало видела, но я его еще тогда помню, еще до твоей поездки, еще я маленькая была, он к тебе приходил. И теперь сразу узнала, хоть он изменился. Ужасно мне нравится. Все молчит, но у него такие глаза... такие, точно он про себя молится.

Юруля усмехнулся.

– Ты не смейся. Он все молчит... И я чувствую тут тайну.

– А чувствуешь, так и не болтай. Глупо вредить людям. Я вот сейчас жалею, что ты ходила ко мне и видела Михаила. Это, пожалуй, лишнее.

Литта покраснела до слез.

– Да разве я... Как это жестоко, Юра. Вот как ты меня не понимаешь. Я и не хочу ничего знать. А с кем я разговариваю, болтаю, подумай? Ведь у меня никого нет. Как ты мог, Юра!

Он уже опять улыбался.

– Знаешь? Ты права. Я глупость сказал. Зато у меня забавная мысль, и я тебя сейчас утешу. Тебя Михаил занимает. По-моему, он в жесточайших ошибках, которые заразительны, – но что до того? Ты сама по себе, сама должна разбираться... Всякому свобода полезна. Твоя учительница математики уехала. Хочешь, я посоветую бабушке будто бы своего товарища прежнего? «Madame... Если я смею рекомендовать... *quelqu' un qui est très sûr*»⁶ ...и так далее. А это будет Михаил. Хоть ненадолго, – тебе удовольствие, ему заработок. Он математик здоровый... Чего ты пугаешься?

– Юра... Да как же? А если тут тайна? Как же он будет приходить?

– Глупая ты девочка. В этой-то могиле нашей – кому до кого дело? Папа с кресла не встает, а если графиня разок на него сквозь лорнет посмотрит – поверь, ничего не увидит. Небось хочется?

⁶ Некого, кто совершенно надежен (*фр.*).

Конечно, Литте очень хочется. Она, веселая и умная девочка, в одиночестве перечитала всю Юрулину библиотеку. Знает и понимает больше, чем говорит. Она часто, полуневольно, наивничает, – даже с братом. Ей свободнее казаться ребенком. А сама с собою – она, хотя еще ребенок, – уже человек. И бессознательно женского в ней уже много.

Рассказывая про Муру Левкович, она искренно и совсем по-детски возмущалась. Воспоминание о Михаиле вдруг сделало ее серьезной, взрослой.

– Хорошо, Юра. Попытайся это устроить. Я тебе буду очень благодарна. И скажи Михаилу, что ему нечего опасаться моей болтливости.

– Ого, вот мы какие серьезные барышни! Ты, впрочем, не рассчитывай на него очень. Он с тобой, может, и слова не скажет ни о чем, кроме математики. Веселья не жди.

– Ничего я не жду. И с разговорами к нему приставать не буду. Не беспокойся.

Юруля обнял ее и поцеловал в голову.

– Знаешь, Улитка, если б ты была братишкой у меня, а не сестренкой, мне бы с тобой весело было! А то сейчас графиня, сейчас нельзя, и все-таки ты кое-что не поймешь никогда! Ну, ничего, будь умница. За обедом увидимся. А вечером я, может, успею Михаилу сказать словечко...

Он повернулся, чтоб идти.

– Да! Вы нынче опять на Царскую дачу поедете? Забыл спросить...

– Ну, конечно. И не скоро. Папа бы поехал, да grand-tata ни за что раньше, чем в середине июня. А ты разве не приедешь, Юра?

– Не знаю. Терпеть не могу эту дачу. «Красный домик» совсем забросили.

Литта вздохнула. Она сама не любила скучную Царскую дачу. У графини была другая, в Финляндии, она-то и называлась «Красный домик». Давно, прежде, они жили там. Но уже лет шесть, как она стоит пустая. Большая, старая, но еще крепкая, заколоченная. Там умерла мать Литты, и графиня ненавидит дачу, хоть не продает и внаймы не отдает. Юрию дача нравится. Летом во флигельке живет сторож, и Юрий бывал там года два тому назад. Сыро немножко, дача под горой у речки, но пустынно, кругом лес. Страшно, говорит графиня, дичь... Мать Литты очень любила эту дачу. Стоила она дорого.

Когда Юрий тихо затворил за собой темную дверь, Литта подошла к окну. Думала о чем-то. Облачный день, сухой, небо – как пыль. Едва видно его, небо. Вода в канале – как черная пыль. Кривая панель, решетка, у решетки барки тяжелые, на барках доски, доски, доски... Пахнет, должно быть, там дегтем, деревом и гнилой водой... Должно быть, – а может, и нет, Литта не знает, пыльное окно еще не выставили. Вон и ломовой трясется, верно, грохочет – а чуть слышать. Скука, скука...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.